# 179.

**А. И. Тургеневу**

*20 октября <1814 г. Володьково1>*

20 октября

Нет, друг милый и *брат*, это большое письмо не написано, и не лень помешала его написать, и я рад, что его не написал, потому что в нем было бы много несправедливого, внушенного огорчением; а то, что и было бы справедливо, должно быть предано забвению и исправлено. Я думаю, через час после моего последнего письма к тебе обстоятельства переменились2. Не радуйся! Того, что надобно, что одно было бы для меня счастьем, нет и, вероятно, не будет. По крайней мере, и жестокого *розно* также не будет. Фанатизм, присоединенный к слабому, нерешительному характеру, непобедим. На него ни рассудок, ни сожаление, ничто действовать не могут. Нет, довольно твердости, чтобы на

что-нибудь решиться, чтобы остаться при том, на что решился. Вся твердость в этом дьявольском суеверии, которое ненавижу от всего сердца. Ах, святая религия, святое понятие о Боге, как вас искажают! Но так и быть! Будущее впереди, в руке твердой; мое дело дойти до него хорошею дорогою. Мы вме-

сте — это много, это всё. Не думаю, однако, чтобы было полное спокойствие, полное счастье; всё это зависит не от нас! Но надобно сколько можно беречь это сокровище — трудиться, помнить предположенную цель, радоваться, что есть дружба, которая меня утешает; словом, писать и жить, как пишешь. Стоить своего счастья, и оно будет наше. Разве мало — быть добрым, быть любимым таким сердцем, какого нет другого, быть другом твоим, быть поэтом и писать не для низкого всеобщего одобрения, а для семейства прекрасных людей, с которыми породнишься посредством высоких, неложных и хорошо выраженных чувств, которые, может быть, останутся и для потомства? Слава, истинная слава! А для меня она выше, нежели для других. Искать, а значит любить самое прелестное творение, в лучшие, совершеннейшие минуты жизни быть к ней ближе. Брат, еще можно быть счастливым на свете! Кто может писать и говорить мыслями сердцу, да притом не слишком самолюбив, чтобы в одном только

успехе видеть свою награду, тот живи и радуйся жизнью. Письмо мое похоже несколько на дифирамб; но ты поймешь меня. Теперь я совершенно один. Мои *все* разъехались — кто в Москву, кто в Тамбов3 и тому подобное. Но я никогда не был так весел. Все минуты *мои*. Сочиняю план будущего, и планы не химери-

ческие, а такие, которые можно и дóлжно исполнить. Пишу стихи без памяти4 — и когда всё то напишется, что я предположил написать в это время, то будет к тебе отправлено вместе с старым для напечатания. Хочу приниматься за «По-

слание к государю»; план сделан, кажется, хорошо5, а это для меня всего важнее. Он написан, следовательно не могу бояться, чтобы мысли, записанные в минуту горячую, пропали из головы в минуту холодную. Мне весело было писать этот план и, признаюсь, много обещаю себе наслаждения от самого сочинения. Никакой поэт не может похвалиться, чтобы имел подобный этому предмет. При имени государя сердце распаляет воображение. Кто подумает о лести! Россия должна благодарить его за тот великий характер, который он к славе ее явил в таких решительных для нее обстоятельствах и благодаря этому характеру Россия теперь славнее, нежели когда-нибудь. Но это всё найдешь в моем Послании. Только уговор — чтобы *никто не знал* об этом. Как скоро узнают, то это обратится в тяжкую обязанность, и принужденность будет охлаждением воображения. Я всегда замечал, что именно того я не делал, что должен или принужден был сделать. Итак, молчи и не убей моего Послания, рассказав о нем прежде, нежели оно родилось. À propos[[1]](#footnote-2). У меня бродит в голове мысль, что если б 25 декабря6 было бы для нас то же, что для англичан день святой Сесилии7.

Чтобы непременно каждый год была сочинена ода на этот день и положена на музыку? Почему не быть у нас Драйденам, Пóпам и Конгревам?8 А какой сюжет! Но только, чтобы это было установление, утвержденное государем. Оно перейдет к потомству. Молитвы своим чередом, а стихи своим.

Попробуй пульс у Батюшкова — в полном ли он здравии обретается? Ведь это сумасшествие! Прислать ко мне свою книжку и не написать ко мне ни слова9 — грех и стыд! Он напрасно журит меня за Муравьева. Поправленнный список его стихов отдан был, если не ошибаюсь, в Москве ему или по почте ему же доставлен. Беда бы не велика, но вот что больше беды: я потерял поправки, и надобно снова приниматься за эту работу. Напомни ему, что я должен был писать жизнь Муравьева, что для этого надобно было мне иметь сведения о его

обстоятельствах, что этих сведений нельзя почерпнуть из тех бумаг его, которые у меня, что я просил его же, пипиньку-шельму-блядуна10, мне эти сведения доставить! Бумаги все целы; успокой на счет их Екатерину Федоровну11. Теперь мне предстоит поездка в Дерпт. Я переселяюсь туда с Воейковым12. Вероятно,

что это случится зимою, и *первая* работа мне в Дерпте будет издание стихов Муравьева, с приобщением к ним его жизни. Приготовьте к этому времени все нужные материалы. То есть хоть ты возьмись стучать Батюшкову в голову и кричать этому кургузому скомороху, чтобы он доставил мне эти материалы.

Впрочем, и на тебя плоха надежда: что ни поручи тебе, всё проспишь. Какой ответ сделал ты мне о Лицее?13 Есть ли какой-нибудь слух об Астракове?14 Человек ты Божий!

Обними за меня Блудова! От него нет ни слова, но я сам виноват, сам не писал к нему ни разу. Но что, если он это молчание назовет моею переменою к нему в дружбе? Нет! не назовет. Тогда и мне даст он право то же об нем подумать. Прошу тебя, вымоли у него ко мне строчку. Он всё в долгу у меня. Я писал к нему в твоем письме, а он и тебе ничего мне сказать не велит. Это грустно и больно. Неужели мы можем друг для друга перемениться, не говорю уже расстаться? Его дружба не только нужна мне для меня, но и для моей Музы. Он один из тех людей, которых одобрение ценю весьма высоко. Растолкай, ради Бога, его дурацкую лень.

Прости. À propos[[2]](#footnote-3). Вчера родилась у меня еще баллада-приемыш, то есть перевод с английского15. Уж то-то черти, то-то гробы! Но это последняя в этом роде. Не думай, чтобы я на одних только чертях хотел ехать в потомство. Нет! Я знаю, что они собьют на дороге, а признаюсь, хочу, чтобы они меня конвоировали.

То, что ты пишешь о братьях, меня радует: славные ребята! На детей нашего старика Тургенева Бог поглядел в милостивую минуту — сердца и головы прекрасные. И всё это *мои*. Любо!

Прощай. Перед Сергеем Семеновичем16 я виноват, и он, видно, решился меня отбросить в толпу шалунов. Я с ним поступил как с тобою, то есть отложил ему отвечать на его письмо, а что отложишь, того не сделаешь. Вот и по сию пору я к нему не написал. Зато и нет у меня ни похвального слова Моро17, ни сочинения его о государе18. Я постараюсь загладить свою вину перед ним. Об Голицыной19 не могу подумать без содрогания. Выдумай какое-нибудь средство,

чтобы меня вывести из дураков, из этой бездны, в которую я сам добровольно залез и где сижу как какой-нибудь хозяин.

Что мой Протасов?20 Пожури его! Видно, он не умеет помнить посреди шумного света тех, кого любил в уединении. А у нас с ним не одна причина любить друг друга. Я его обнимаю.

*Жуковский*

1. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-2)
2. Кстати (*франц*.). [↑](#footnote-ref-3)